

Говорили о русском народе. Говорили русские же люди, но походило на то, будто собрались ученые иностранцы, приехавшие из чуждых дальних стран для исследования малоизвестного человеческого племени: одни хаяли, называли дикарями и варварами, другие старались смягчить свой приговор, подыскивая оправдывающие исторические обстоятельства; только один ученый остался при особом мнении: восхищался русским народом. Его оскорбляли суровые приговоры собеседников, он отрицательно тряс седой уже головой и повторял:

– И все это неверно! Не согласен.

– Ну а вот, например, невежество? Вы его признаете или отрицаете?

* Публикуется по изданию: Чириков Е. Между небом и землей. Париж, 1927.

– Какое именно невежество? Научное? Что мужики не учились у нас в гимназиях и университетах?

– Да просто безграмотность! Темнота, болото всяких предрассудков и суеверий. У русского народа до сей поры живехоньки и лешие, и домовые, и оборотни, и черти, и что угодно. И поля, и леса, и реки, и избы полны всякой чертовщиной...

Седой покачал укоризненно головой:

– Вот вам-то, как писателю и поэту, казалось бы, совсем не следовало рассуждать так, как все прочие интеллигенты, горящиеся перед своим народом аттестатами зрелости! Все это слишком поверхностные рассуждения...

– Позвольте! При чем же, однако, тут писатель и поэт?

– Вы упрекаете народ в том, что он верит в чертовщину. Тут я – при особом мнении: где Бог – там и черт, где святость – там и чертовщина. В этом бездонная глубина народной мудрости, облеченной в великолепную поэтическую форму. Неважно, как называются два извечно борющихся в душе человеческой начала – Добро и Зло, это все – переходящее, но важна религиозность, проявляющаяся в этой поэтической форме. Поэзия, как вам известно, родная сестра религии. Поэзия, как и религия, построена на вере в Бога, в чудеса, в откровение свыше. Вся наша литература рождена из этой веры в Добро и Зло, и только такая литература носит русский национальный характер, а всякие эти новомодные, украденные за границей школы, – все это так, мыльные пузыри!

Спор разгорелся. Посыпались взаимные упреки. Седой доказывал, что если веришь в Бога, то нельзя не верить и в черта. Это – символика всей философии мироздания и миропонимания, а не дикарское невежество.

– Вы все поклонники монизма и в науке, и в философии, а русский народ природный дуалист, и от дуализма – вся его мудрость. Именно поэтому вы все – чужды духу русского народа и взаимно не понимаете друг друга. Вы материалисты до корней волос и давно превратились в представителей романо-германского племени...

Постепенно спор смягчался остротами и шутками, и, как всегда, не доведенный, по русскому интеллигентскому обычаю, до конца, никого ни в чем не убедил и перешел, в конце концов, на рассказы разных «случаев», в которых принимала участие «чертовщина». И тут писатель-поэт забыл, что он не верит ни в Бога, ни в черта, и тоже поведал одну маловероятную историю, которая будто бы произошла с его дедом:

– По роду-племени мы – лесные люди. Дед мой, а потом и отец – имели наследственное дело: разрабатывали и сплавляли лес по Ветлуге. Я сам еще помню, как мальчиком жил с отцом в лесах целую зиму, до весеннего сплава. Точно в сказке жил! Лес вроде моря... В нем тоже «много тайн погребено». От одной из таких «тайн» и дедушка мой, как потом мне рассказывали, погиб...

– Что же, Леший обошел?

– Интереснее: не Леший, а Лесачиха.

Подвыпившей компанией сразу овладело игривое настроение. Снова начались шутки и остроты... Это еще что за зверь, Лесачиха? Жена Лешего?..

– Не во всех лесах живут эти Лесачихи. А может быть, в других местах их называют иначе. Лесная девка, развратная красавица. Путается

обыкновенно с Лешими, но иногда, для разнообразия, развлекается и с человеком, особенно любит дурачить людей, стремящихся к святости и непорочности, блюстителей всяческого благообразия и строгой жизни. Тут она – такая проказница, что и описать трудно. Оборачивается то в голую бабу, то в красивого инока, то воздвигает келью под елью и является в образе монаха-отшельника, для охотника – перевернется ланью или оленем, для странника по святым местам – нищенкой, старухой. Понимает в каждом человеке слабую сторону и на ней строит свои проказы. Что она чисто русского происхождения – свидетельствует ее пристрастие попариться в баньке. Впрочем, и Леший – большой охотник до этого удовольствия. Само собою разумеется, что такое пристрастие Лешего и Лесачихи к баньке зимой, в трескучие морозы, связывает их узами супружества. Поэтому нередко Лесачиху и считают женой Лешего.

Однако если тут и есть супружество, то весьма сомнительное, случайное... Просто связь по расчету. Леший – старик, а Лесачиха – молодая бабенка, весьма легкомысленного характера, свободолюбивая, в домашнем хозяйстве Лешему не помогающая; Леший живет бобылем круглое лето и зиму и лишь изредка совращается с «правильного пути», или, как говорят в народе, «балуется на старости лет»... А так как лес находится в полном самодержавном управлении у него, то, конечно, и брошенные лесорубами бани поступают в его единоличное распоряжение. Зная слабость Лесачихи к баньке, Леший пользуется слабостью этой женщины и взимает с нее подать натурою. Что взять с голой бабенки? А Леший – мужик хозяйственный и скуповатый... С паршивой собаки – хоть шерсти клок!.. Тако. Это уж не жена!..

Так вот от этой самой подлой бабенки погиб и ветлужский степенный купец, лесоторговец, Вавила Егорыч Карягин, человек пожилой, лет под шестьдесят, но крепкий здоровьем и силой, набожный, строгий в семейной жизни. В ту пору он был уже дедушкой: человек восемь внучат имел... Насчет женского пола – ни Боже мой! До пятидесяти лет, кроме своей законной супруги, Марфы Игнатьевны, никакой женщины не знал и знать не хотел. Как отцы и деды, по старой вере жил, чистоту веры блюл, как свое око, и за детьми приглядывал, чтобы не совратились или в ересь или в какое-нибудь блудное окаянство. Начетчиком был и на память все Евангелие знал. Из себя очень видный старик был: прямо богатырь! Седина серебряная в бороде и в кудрях, а бровь темная, глаза огнем горят, голос басистый и, как заговорит, по всему лесу слышать. Одну слабость имел: раз в год точно от жизни уставал вдруг и недели на две запивал. Но и тут разуму не терял: как почует, что пора блудодействия и греха приходит, – захватит, сколько нужно, зелья проклятого, закусок всяких, воды запас и прикажет себя запереть в зимовнике, чтобы никто этого соблазна не видал и не впал во искушение. Пройдет полоса блудодействия – сейчас в баню, вымоется, выпарится, благообразный вид примет и в село молиться да поклоны отбивать. Не согрешишь – не замолишь! Отмолится и снова за дело. И точно ничего не было. Что пропустил в деле да в трудах – наверстает, вдвойне трудится. Долго в глаза людям не глядит: совестно, и строгость к рабочим оставляет. Ну а потом помаленьку все забудется, и опять прежний «хозяин»: покрикивает, поругивает, во все глаза глядит,

чтобы лени и ротозейства не было. Опять кипит работа в лесу. Опять голос Вавилы Егорыча по лесу зычно гудит...

Много Вавила Егорыч лесу в Волгу сплавил, и плотами, и белянами, и дровами. Много белых сосновых изб по берегам Волги разбросал. По всему Поволжью Вавилу Егорыча знали, от Казани до Царицына, на всех лесных биржах его имя поминали. Одним словом – царь лесной. И богат, и именит был, а новая жизнь, греховная, веселая, что по городам да ярмаркам купцы новые завели, – Вавилу Егорыча не приманивала. По старине жил. Так и говорил: «Пушай молодые поганятся, а я в строгости жил, в строгости и помру!» И вот такого-то лесного кряжа и облюбовала блудливая и похотливая баба лесная, Лесачиха! Забавно ей показалось над богатырем лесным покуражиться да над ним свою женскую силу попробовать. Хотя и нечисть, а все же баба, женщина, сеть дьявольская, как говорится в святом писании праведников жизни... И вот как это случилось.

Хороши леса ветлужские летом: море-океан, без конца, без края, – пучина зеленая. Шумит и днем, и ночью под ветром вершинами, как волнами колыхаясь под голубыми небесами, а в тихую погоду – молчит зеленым молчанием да прислушивается, что на земле делается, да с небесными очами перемигивается. Полон чудес лес весной и летом, потому что в нем всякие волшебные травы прячутся. В лугах теперь перевелись они, а в больших лесах, на трущобных луговицах и теперь найдешь и «плакун-траву», что от слез Богородицы зачалась (когда Пресвятая Богородица по Сыне слезы роняла на матушку сыру землю, от тех слез плакун-трава зарождалась). Затоптали ее грешными грязными ногами люди в лугах, и силу свою она потеряла, а вот лесная плакун-трава и теперь от вражьей силы спасает, все бесы ее боятся и, как дух ее слышат, прочь со слезами разбегаются. Тоже и одолень-трава, и цвет папоротника, и обратим-корень, что девиц и парней привораживает, – все можно найти в дремучем ветлужском лесу. Хорош лес весной и летом, ну а зимой – прямо заколдованное царство! Снежное царство! Огромные сосны и ели – как крыши под снегом, елки – как белые шатры и палатки по лесу раскинуты. Точно замороженный, стоит лес зимой в тихую погоду, а как завертит буран – заскрипят старые сосны, засверкает огоньками снег, сбрасываемый ветром с вершин, задымится лес серебряным снежным дымом – прячься тогда куда ни на есть, а то заметет да заморозит; всего лучше в старый «зимовник» схорониться, а уж прямо благодать, если на брошенную баню наткнешься: накалишь печь сушьем смолистым, да и спи с Богом! Тепло, как в натопленной избе, и никакой зверь не страшен. Одна опасность – на Лешего или Лесачиху, а то и на обоих разом можешь наткнуться! В сваты попадешь – запарят тебя до смерти!..

Так вот вроде этого и с дедом Вавилой вышло. В первый раз он на Лесачиху летом наткнулся. Так было. Обезжал он лес – заметки на деревьях ставил: которые сосны зимой рубить. Верхом был. Однако коня бросать приходилось: разве в чащу пробьешься? Оставит лошадей на тропе, привяжет к дереву или пню старому, а сам углубится и отбор делает: толщину и высоту определяет да метки ставит. Неученый человек, а прямо чудеса делал: высоту любого дерева мог определить безо всякого инструмента! Только палка в руках. Отойдет от дерева, воткнет палку в землю, а сам на землю ложится и глядит на конец палки и на вершину дерева. Раза три

место переменит, потом – готово: соскочит, шаги до дерева пересчитает и высоту обнаружит. Сколько раз мужики с ним спорили, об заклад бились: срубят дерево, саженкой прикинут – правильно определил! Только никому он того секрета не открывал. Так вот, однажды летом – дело уж под вечер было – углубился он в лес без коня, с одной палкой в руке, и делал свое дело. То ляжет, то встанет, высчитает и пометку на дереве и в своей книжечке. Вот воткнул он этак палку и пошел дальше – лечь. Лег на траву-то, глядит, а вместо его палки-то голая девка стоит да свою косу русую гребнем расчесывает. Встал, идет: опять палка! Ляжет, поглядит – голая девка во всей натуральности и безо всякого стыда, даже рукой срама не прикроет, бесстыжая. Ну, конечно, опешил человек, понял, что бес соблазняет. Плюнул, перекрестился и бросил это дерево без пометки. Пошел к другому, лег – опять она же! Стоит, да еще и смеется, гадина, греховно потягивается и рукой манит. Красивая – и сказать нельзя!.. Опять плюнул, к новому дереву пошел: опять стоит! Пригляделся уж Вавила, страх-то прошел, посмелее стал, заговорил:

– Отвяжись ты, окаянная, от меня! Видишь – борода серебрится, а ты...

– А ты не гляди, коли что!

– Я на кол гляжу, не на тебя... Не видал я, что ли, голой бабы? Невидаль!

– А ты хорошенько погляди! Таких, наверно, не видал!

Ну и стала она перед дедом красоту свою показывать: и так, и этак повернется, ногу подымет, грудью потрясет, ляжет... Смотрит дед и чувствует, что смущение в нем начинается:

– Без стыда ты и без совести! – попрекает ее, а сам за ухом чешет да оглядывается.

Хохочет и манит: руки растопырила – жду, дескать. Ну тут совсем помутилось в душе у Вавилы. Рванулся к ней да и обнял... палку, что сам в землю воткнул. Держит жердь, а Лесачиха под сосной стоит да хохочет. От смеху вся содрогается, уняться не может. А потом говорит:

– Кто красивее: я или твоя Марфа Игнатъевна?

– Это к делу не относится...

– Э, ловкий! Нет, говорит, меня любить – всех других забыть! Согласен?

– А что будет?

– Если согласен, скинь с груди крест, брось, плюнь на него и ногой разотри, а тогда пойдем со мной к озеру, там во мхах поживем – все на свете забудешь от моей любви да ласки...

Задумался Вавила Егорыч. Совсем было бес одолел: за крестом за пазуху полез, да случай спас – ветер колокольный звон принес из села. Опомнился, плюнул, перекрестился да прочь скорее. Чуть не бегом, только поскорее бы от сладкого соблазна уйти: чувствует, что и самому за себя перед таким грехом трудно поручиться. Вышел на тропу, идет к лошади, поднял голову, а вместо лошади опять она стоит! Стоит да смеется...

– Очень, – говорит, – ты мне приглянулся! Никаких, – говорит, – клятв я с тебя не возьму и от твоей супруги отречения не потребую... На! Так бери меня в охапку, только крест с груди сыми, потому без этого у нас с тобой ничего не выйдет...

Однако Вавила Егорыч уже себя в руки взял. Смотрит в землю и ругается нехорошими словами.

– Я, – говорит, – человек крещенный по древнему уставу и с нечистью поганиться не буду. Поди ты... откуда пришла!

Да крестным знаменем и осенил ее. И как только осенил – вместо нее оказалась опять лошадь. Сел Вавила Егорыч в седло и марш из проклятого места. Потом очистился телом и душой, попостился, сколько после такого блуда следовало, а покою все-таки долго не было: снится, проклятая, кажную ночь, да и кончено! Жена рядом лежит, а ему чудится, что не жена, а эта самая подлая бабенка лесная. Проснет – огонь вздует и поглядит. Все не верит:

– Ты, Марфуша, тут?

– Ну а кто же?

Рассердится, конечно, женщина со сна. Ночью снится, днем все из головы не выходит. Вспоминается все, как это видение самое в лесу имел, и все раздумье берет: не согрешишь – не замолишь! И как эта полоса найдет, Марфа Игнатьевна не глянется: и стара, и некрасива кажется. Весь день злой ходит, на жену и детей кричит, ничем не угодишь, все – неладно... Смутила, проклятая! Хотя настоящего греха и не вышло, да не все ли равно? Как оно в Писании сказано? «Ежели хотя только посмотришь на женщину с вожделением, и то согрешил уже с нею в сердце своем!»

«Значит, все одно бы уж, разница малая! – думается все Вавиле Егорычу. – Блудник!» И досадно становится: добро было бы из-за чего, а то... А потом бес на ухо и зашепчет: «И дурак же ты, Вавила Егорыч! Семь бед – один ответ, а ты и невинности не соблюл, и сладости греховной лишился, случай какой упустил в жизни!.. А много ли тебе и жизни-то осталось?» А мысли греховные – как пряжа: ниточка за ниточкой тянется да на веретено закручивается, а потом из них можно и веревку скрутить! Стал часто в лес отлучаться. Сядет на коня и закатится. Колесит, колесит по лесу, все надеется, что опять Лесачиху встретит, – нет! Не кажется. Как сгинула. Пробовал и крест с груди скидывать – ничего не выходит. Все около тех мест блуждал – где тогда видение имел. Было в тех местах озеро лесное. Раз приказчик за охотой ходил, брел мимо озера, раздвинул камыши и видит: на другой стороне хозяин, Вавила Егорыч, сидит, словно рыбу ловит – все на воду глядит. А вернется домой – злой, как черт. В этом году вместо одного раза – трижды запивал и запирался, трижды очищался и пост держал и Марфу Игнатьевну совсем от супружеского ложа отлучил и по субботам один стал в бане париться. Думали все – что это для ради праведной жизни, а на деле-то совсем по другой причине: супруга в оголении в памяти видение пробуждала, а от этого сравнения Вавила Егорыч в злую ярость приходил и последний раз, как вместе в бане парились, Марфу Игнатьевну побил и нагишом из предбанника вышвырнул... Вроде как помутнение в голове произошло. Однако осенью оправился. Точно дожди грешную погань с души смыли, а ветры буйные грешные помыслы раздули на все четыре стороны. Опять стал поласковее, повеселее и даже опять к супружескому ложу возвратился. Сказывали, будто одна старуха какой-то чудесной травой его отпоила, бесовское наваждение с него сняла. Весь год благополучно прошел. Хорошо зиму проработал в лесах, большие дела по лесной части заворотил, а как

сплав покончили, домой вернулся – узнать нельзя: помолодел, нрав покладистый, характер веселый, с женой ласков, с детьми говорливый и с людьми приветливый. Все семейные диву давались: словно лет двадцать с плеч скинул! И шутит, и смеется, и прибаутки говорит. И раз вечером, когда чай пили и разное рассказывали, не удержал своей тайны – рассказал случай этот, как Лесачиху видел! Все рассказал. Кто поверил, а кто нет. И как рассказал, опять сниться стала... А потом запойная неделя подошла. Только неделя-то на этот раз длинная вышла. Неделю взаперти пил да дён пять на воле опохмелялся. Старуха потом говорила, что не надо было своей тайны на люди выносить, – заговорная сила от этого пропадает. А вот он свою тайну людям выдал, опять началось. Проснется ночью, огонь вздует и на супругу законную смотрит:

– Это ты, Марфа?

– Ну а кому тут еще лежать? Окстись!

И пошло все по-старому: на жену не глядит, в баню с ней не ходит, на всех злобствует. И так до зимы. Суровая зима в этом году выдалась... Старики не запомнят такой стужи да буранов и метелей, какие в эту зиму прошли. Вавила Егорыч со старшими сыновьями, как всегда, на зиму в леса уехал. Много мужиков у них на работах в этом году было: большая вырубка намечалась. Два зимовника срубали: для себя и для рубщиков, поветь для лошадей сделали, много провианту всякого запасли, десятиведерный бочонок водки повезли – дело зимнее да тяжелое. Бабу с собой взяли: как же без бабы в таком хозяйстве? Молодую солдатку взяли. Не так, чтобы строгого поведения, да зато – проворная и работница, ни с каким делом не считалась: и обед стряпала, и белье стирала да чинила, и в долгие зимние вечера повеселить умела – хорошо сказки говорила и песни пела, а водочки поднесешь – и попляшет с платочком. И хотя одна баба, а от нее всем удовольствие: нет той скуки, какая без бабы в лесу зимой по праздникам одолевает. Конечно, баба молодая, видная из себя: немало и вздору из-за нее в артели бывало, однако это – беда маленькая: подерутся с ночи, а утром, как на работы идти, опять – дружки. Лукерьей ту бабу звали. Зубы уж очень белые казала, как смеется! Всех она этими зубами дразнила, приманивала. Нравились, то есть. Ну да разве одни зубы у смазливой молодой бабенки? С зубов только начиналось. Даже и сам Вавила Егорыч мимо нее не проходил без внимания:

– Будет тебе зубы-то показывать! – скажет, бывало, а сам за ухом почешет да вздохнет, молодость вспомнит.

– А чего мне тебе показывать? – пошутит лукавая баба, а вокруг все загогочат, и сразу весело всем станет.

– Ты, Лукерья, вроде как Лесачиха!

– Похожа разя?

– Похожа...

– Одна промежду вами в лесу. Лесачиха и есть! Ну и надоели же мне вы, мужики! Никакой подруги не имею.

– Зато Леших – сколько угодно!

– Больше одна ни за что на свете в леса не поеду! Пропади вы совсем...

Глаза-то наши – дверь для греха: как ни тверд был по женской части Вавила Егорыч, а против женского соблазну и богатырь не устоит.

Заглядываться стал на полногрудую да чернобровую бойкую бабеночку. Очень уж напомнила проклятую Лесачиху. Та тоже очень вертлявая и грудастая была и так же глазами и зубами играла...

– Гм... Чистая Лесачиха!

А Лукерья, солдатская жена, – муж на войне без вести пропал – вроде как вдова, человек свободный. А лета молодые. Конечно, грех-то в глаза тычется. Приметила, что хозяин нет-нет да и скосит глаз свой в ее сторону да за ухом почешет, – лестно стало: ходит перед ним, словно грудь свою на подносе несет, а глаза – в землю: знает, что хозяину в женщине тоже и скромность нравится. Ну и стал бес подыгрывать греху глазоблудия. А тут и Лесачиха снова за свое озорство принялась... Начала, гадина, в Лукерью обертываться! Однаво такой случай совершился: Вавила Егорыч среди ночи проснулся – есть захотел! Ворочался-ворочался в зимовнике на теплой печке, а заснуть не может: есть хочет. Он и молитву шептал, и до тысячи считал, чтобы заснуть, – нет сна. И что такое? Поужинал плотно, как и все прочие, прямо, можно сказать, до отвала, а точно и не ужинал: сосет под ложечкой, и кончено. Видит, что покуда не поест, сна не будет, – решил свое брюхо ублагоотворить. Вздул огонь, слез с печи и стал искать, шарить кругом – чего бы ему в рот положить. В зимовнике приказчик да два сына спали, а куфарка – в другом, соседнем зимовнике была, с рабочими. Там обед-то стряпали. Ну шарил-шарил – нет ничего, ни корочки. Что ж теперь делать? Не идти же на черную половину да людям спать мешать? Народ – рабочий. За день намучились, а утром чуть свет надо встать да опять – на работу... Положим, можно одну Лукерью потревожить, – все как убитые: не толкнешь ногой, так и не почуют. Однако и Лукерью боится потревожить: хоть и баба, а тоже ведь такой же рабочий человек, день-деньской крутится, а тут еще и ночью покою не дашь! Вышел, это, Вавила Егорыч из зимника на волю, стоит и в раздумье не решается. Разве в окошко постучать: оконце-то как раз в головах у Лукерьи, над настилом. Опять нехорошо может выйти: люди подумают, что блудное дело тут с его стороны. А уж какой тут блуд – голодный человек. Тихая ночь была: слышно, как белки на деревьях прыгают и шишки с сосен роняют. Морозно. Деревя в парчовых ризах стоят – не шелохнутся. Над головой – звезды синими огнями поигрывают. Посмотрел Вавила Егорыч в небеса да вокруг – вздохнул и хотел обратно ползти в дверку зимовника. Только это повернулся к дверке да нагнулся, а позади снежок захрустел, словно шепот осторожный. Идет кто-то. Кому тут ночью ходить? Обернулся и видит – Лукерья из-под сосен бежит да ежится: в одном платьишке, только тулупчик внакидку на плечах.

– Лукерья?

– Я, Вавила Егорыч! – приостановилась, ногами от холоду подплясывает.

– Ты что в неурочное время бегаешь?

– До ветру...

– Постой! Принеси мне поесть чего! Под ложечкой сосет что-то...

– А чего дать-то?

– Ну все одно. Что там есть у тебя?

– Да у меня мало ли что есть, Вавила Егорыч! – говорит, а сама жеманится: тулупчик то распахнет, то запахнет и ногами, как застоявшаяся кобыла, играет.

– Принеси чего-нибудь!

– И что вам не спится только?... Сейчас поищу, принесу...

Вавила Егорыч в зимовник заполз, ждет. Лампу вздул, сел к столу. Прошло так минут пять – лезет Лукерья с блюдом да с бутылочкой. И от блюда, и от самой бабенки пар идет: и еда, и сама – горячие.

Поставила блюдо и бутылочку.

– Кушайте на здоровье!

– Никак разогрела?

– А вы уж кушайте!

– А в бутылке что? Уксус али масло?

– Откушайте – видать будет.

А сама стоит, руки под мышки воткнула и покачивается:

– Уж мороз какой! Вся содрогаюсь.

И вдруг это стаканчик еще около бутылки поставила.

– На какой предмет?

Сама налила и подносит:

– С морозцу-то откушайте-ка!

Опустил в стаканчик губу Вавила Егорыч – водка!

А на блюде сердце вареное, пар идет.

– На здоровье! А сердечком-то закусите...

Выпил Вавила Егорыч и сердцем горячим закусил. Хорошо! И как только выпил – кровь заиграла. Мужчина пожилых лет, положительный и строгого обычая, а тут вдруг взял да и подмигнул Лукерье! А та тоже глазом повела и головой на спавших сыновей и приказчика показала: нельзя, дескать, – не одни в зимовнике. А сама еще стаканчик налила и поклонилась. И вот таким манером молча разговаривают и друг дружку понимают. А ведь блудный грех – такого сорту, что всякая препона только ему помогает... Взял это Вавила Егорыч да на лампу и дунул. Погас огонь, в зимовнике – ничего не видать. Только маленькое оконце под потолком маячит. И храп один слышится. Ну вот... в темноте бесам свободнее. Встал это Вавила Егорыч с лавочки да впотьмах руками и норовит Лукерью захватить, чтобы почувствовать. Шагнет направо, а она дышит левее, шагнет влево, она дышит да хихикает правее. Не допускает до себя. Разгорячился Вавила Егорыч, даже озлобился.

– Я ничего... Я только обойму... поиграю... – шепчет.

А она в потемках все шепотом что-то, шепотом да к дверке. Он за ней. Ухватил было за ногу, а тут приказчик во сне заговорил – Вавила Егорыч и выпустил. Прижался у дверки, дыханье затаил – потому срам ведь, если приказчик на таком занятии хозяина пымает! Тихо это стало. И слышит опять Вавила Егорыч шепота за дверкой: вылезла уж она, Лукерья-то. Слышит шепота:

– В секрете от людей надо держать... Чтобы никто не приметил нашей забавы! В Ереминском овраге баня есть... В субботу истоплю – париться там буду... Никому не говори, только сам знай...

И от этих самых бабьих шепотов совсем в голове у Вавилы Егорыча помутилось. Вздул это снова лампу, а на столе ничего нет: ни блюда, ни бутылки со стаканчиком. Что за оказия? С собой, шельма, уволокла! А! Не оставила. А там больше половины недопито. Хотя бы третий стаканчик еще хватить! Началось оно да ровно не кончилось... Обидно. Ну лег и долго в потолок глядел. Про Ереминские овраги думает: далеко это, и пройти туда трудно: сугробы. А баня там, действительно, есть. Года три тому назад там рубка была, и народ

зимовал: баня, помнится, есть. Гм... не пройдешь! Дорог в лесах нет, а только тропы заячьи. Вот придумала бабенка! Оно, конечно, – там в безопасности, никому и в голову не придет, что... В полном секрете все останется... Думал-думал и заснул. А как заснул, сны блудные стали одолевать. И такое снилось, что и вспоминать стыдно было. Утром встал, на людей неудобно смотреть: все кажется, что знают они про эти сны поганые. Особенно на Лукерью страшно смотреть: даже в краску ударяет Вавилу Егорыча, как они глазами встретятся. Однако Лукерья хоть бы ты что! Точно ничего между ними ночью не было и сговору никакого не сделано. Никакого виду не подает, ходит, словно грудь на подносе носит, и глаза в землю. Вот подлая! Ну и хитрющая же бабенка!

– Лукерья!

– Слушаю.

– Там... у тебя... с полбутылки водки осталось от вчерашнего... Принеси-ка, что-то захотелось вдруг... – сказал Вавила Егорыч, когда одни остались.

– От какого-такого «вчерашнего»? Не пойму что-то я.

– А ты будет уж!.. Никого ведь в зимовнике нет...

– Ничего не понимаю, Вавила Егорыч!

– А вчерась... ночью?.. Что было?

– Ничего не было, Вавила Егорыч. Не понимаю, что вы и говорите такое...

– Фу, ты... подлюга! А куда ты меня звала?

– Никуда не звала.

– Ах, ты...

И невдомек Вавиле Егорычу, что не Лукерья, а Лесачиха в ее образе с ним ночью поиграла. Огляделся, схватил бабенку под мышки, шепчет:

– А когда в баню париться пойдешь?

Вырвалась, хохочет, а выбежала – ругается:

– У-у, медведь ветлужский! Чтоб тебе... Разыгрался на старости лет...

А самой любо: «сам хозяин» поиграл – значит, хороша! Выпрямилась и пошла, словно поплыла баржа грудастая. По дороге парня полотенцем по харе угостила: не лезь, когда не время.

А в голову Вавилы Егорыча Ереминские овраги засели. Надо выследить, когда Лушка туда пойдет. Коли про баню знает, значит – ходит туда. Одна ли только ходит-то туда? Едва ли. Как случай подвернется, одни останутся на минутку, так Вавила Егорыч опять про то же:

– В эту субботу али в будущую?

– Чего еще?

Днем никакого виду не подает. А если вечером случится около зимника глаз на глаз встретиться, опять – шепота:

– Не увидали бы мужики-то?..

– Ну а когда в Ереминских оврагах баньку топить будешь?

– А что? Пособить хочешь?

– Пособлю!

Долго смешком отделялась, но под Рождественский сочельник, когда все мужики по своим деревням на праздники разошлись, да и сам Вавила Егорыч домой ехать собирался, встретились опять ночью около зимовника. Опять Лукерья из-под снежной сосны, как заяц, выбежала.

– Завтра, я, видно, тебя с собой прихвачу...

– Куда уж тут! С сыновьями поедете, тесно будет. Я уж одна... В баньке помоюсь, заночую, а чуть свет в деревню пойду...

Вот оно когда! Сочельник. До звезды пищу вкушать не дозволяется, а тут вон что выходит... Однако как же с ребятами быть? Они домой торопят. Пушай одни вперед едут, а за ним лошадь пришлют на первый день праздника. Мало ли дела у хозяина?

Настал сочельник. Сыновья лошадь впрягли, отца ждут. А он весь во грехе горит. Взял счета, фактуры да бумажки разные и давай косточками шелкать.

– Папаша! Оставьте уж это... Ехать пора!

– А ну вас... к лешему! Поезжайте, а я не могу: после не вспомнишь. Надо все записать, все в порядок привести. Не люблю я никакого беспорядку в деле.

Слово за слово – повздорил с сыновьями.

– В таком разе мы одни поедем...

– И езжайте! А за мной утром лошадь пришлете...

Уехали. Долго стоял Вавила Егорыч у зимника и слушал, как сани в лесу поскрипывали. Как все стихло – слободу почувствовал, потянулся и все расчеты бросил. Хватился Лукерья – нет! Не иначе, как пошла в Ереминские овраги баню топить. Вот шельма: не дождалась, когда уедут ребята. А как теперь ее найти? Может, вернется еще. Просидел, прождал, от зимовника к зимовнику похаживал, в глубины белые лесные поглядывал. Нет! Этак она и совсем не покажется: из бани прямо в деревню пройдет. Сильно озлобился Вавила Егорыч на Лукерью. Знай, с кем шутить! Сама напросилась, а потом на попятный. Врешь, шуткой не откупишься. Что он, махонький, что ли? Не сумеет один эту самую баню отыскать? Да по следу дойдет!..

И вот начал Вавила Егорыч след искать. Конечно, кругом зимников много человечьею следу, ну а подальше, поглубже в лес – не много хожено. Подумал, подумал и придумал: у них лыжи есть, на лыжах оно сподручнее. Надел лыжи, взял падожки в руки и побегал Лукерьяин след искать... Долго кружился, матюкался, однако набежал-таки: вот он, след! Видать бабий башмак с подковками на каблуках. Она самая! У ней – с подковками!.. Подкованная, шельма. Теперь не уйдешь! Вон ведь как! – прыгала, как коза! А вот здесь потопталась. Видно, ждала кого? Кого же ждать, когда знала, что в лесу он один остается? Гикнул Вавила Егорыч – не откликнется ли? Послушал – молчание лесное, тайное да белое. Один, как Леший, в лесу. Царь лесной. Бежит на лыжах – спотыкается – мало ездить случалось – взопрел, инда пар от него валит. Волосы около шапки и борода с усами – все точно из ваты, на одеже точно пух белый, вся заиндевела, а в нутрях горит. Душа как в огне вся. Пить охота. Поел чистого снегу, отдышался и опять визжать лыжами по сугробам начал. Потерялся было след, да покрутился – опять напал. А дело к вечеру пошло. Силь да тени по сугробам заползали, и молчание все глубже. Далеко забежал, а след все цепочкой тянется вперед. Как бы до темноты доехать, а то беда: в лесу замерзнешь. Зимой скоро темнеет. Стала оторопь брать: а что, как до темноты не добежит? Становился, отдышался. Подумал, не вернуться ли? Однако никакого расчета вертаться нет: надо думать, до темноты скорей теперь до бани добежишь, чем до зимовки. Под уклон лес пошел. Значит, Ереминские овраги начались. И ехать легко: как птица над снегами летишь. Дух замирает, и нос щиплет. В овраг скатился, а след на гору ползет. Вскарбакается на гору, опять птицей вниз летит. И так до самой темноты. На небе

уже звездочки загорелись, когда вдруг на дне оврага в сугробах красный огонек приметил! Вот оно где! Обрадовался, палки в сугроб воткнул, нос выбил, одежду оправил: теперь можно не торопиться. Видать, как синий дымок меж деревьев курится. Баню топят! Долго она... А впрочем, разве скоро три года нетопленную баню разогреешь? Промерзли стены, да и печь отвыкла... Тут Вавила Егорыч лыжи на плечо принял и по следу под овраг на огонек пошел. Мороз трескучий, а грех не только не смиряется, все ярче разгорается. Подкрался к огоньку. Все оконце снегом занесено, только в пятак светлинка оттаяла, и чрез нее огонек видать. Как глянул в светлинку, так и оторваться не может: Лукерья нагишом стоит, волосья расчесывает, песенку мурлычет. Ну и баба же! Король-баба! Расчесала волосы, свила и красным платочком подвязала, а потом взяла шайку да пару поддала. И все в белом пару пропало. Ничего не видать, только слышно, как веник хлыщет. Парится! Тут Вавила Егорыч светлинку бросил да дверку искать. Ходит, тычется, а дверки найти не может. Разжегся весь, опять к оконцу. Прижался к стеклышку:

– Луша! Отопрись! Я прибыл...

– Кто ты такой?

– Твой хозяин, Вавила Егорыч.

Захотела и кричит:

– Иди, откуда пришел!

– То есть как же это?

– К своей Марфе Игнатъевне иди!

Баня внутри в пару, как в облаках, однако Вавила Егорыч видит в светлинку: губы красные шевелятся и белыми зубами дразнят: баба в светлинку говорит. Ну и губы же! Так бы впился в них, да и не оторвался!

– Лушенька! Дорогушенька! А ты будет ломаться-то. Пусти уж. Чай, я прозяб!

Оно и верно: стоит, смотрит на красные губы женские, а сам, как волк в стужу, зубами щелкает...

– Скажи, кто лучше: я или твоя Марфа Игнатъевна? – спрашивает. И тут пар в бане, как туман с реки, расползся, и опять Вавила Егорыч Лукерью во всей наготе увидал:

– Да что тут спрашивать-то? Сама ведь знаешь... Безо всякого сравнения!

А она веничек в руке держит и себя по бедрам поколачивает, а в глазах огни сверкают:

– Нешто пустить?

– Пусти!

Так она его до самой заутрени проморила, а как время Христу родиться пришло и в родном селе к заутрене ударили – все пропало. Опомнился блудный старик. Сразу весь блуд точно сдуло. Стоит, озирается и понять ничего не может: перед ним сосна, а у сосны – елка, как белый шатер, снегом накрытая. Никакого окошечка нет, и огонька не видно. Перекрестился трижды, прочитал «От юности моя мнози борят мя страсти» и скорее – на лыжи да гону! От страхов сразу разогрелся. Откуда и прыть взялась. Ночь-то звездами высветлилась. Снега серебрятся, и по снежному настилу след от лыж видать. По следу этому и гнал. Иначе совсем пропал бы, замерз в лесу... Прибежал на зимник, печку затопил, все одежду на

себя сложил и не помнит, как заснул. А утром – лошадь с работником из села. Насилу разбудили. Самоварчик поставили, отогрелись, страхи отлегли, одно беспокойство да изумление осталось. Во сне или наяву все было? Вот он и стал пытаться работника – про Лукерью спрашивать: оказалось, что Лукерья вместе с сыновьями Вавилы Егорыча давно домой приехала! Выходит, что не Лукерья в бане парилась...

Неладное что-то стало твориться с Вавилой Егорычем: приехал домой и все на Лукерью глазами пялиться зачал. Уставится и замрет, ничего не слышит, ничего не понимает. И супруга, и все родные стали замечать, что неладно, некрасиво это выходит, смущение производит в семействе. Смотрит, смотрит и вдруг спросит:

– Ереминские овраги помнишь?

Конечно, Лукерья только плечиком пожмет да хихикнет.

И стало это самое «блудное» одолевать Вавилу Егорыча. Дошло до того, что и страх, и стыд стал терять: как Лукерья одна, проходу не дает: все в Ереминские овраги заманивает. Согнала Марфа Игнатъевна Лушку с места, другую, старую девку кривую, на ее место взяла, думала семейную жизнь по хорошему пути наладить – не выходит: как придет суббота, потянутся люди к баням, так и Вавила Егорыч – на огороды, к прудам: дознался, в которой бане Лушка моется, – стал в окошечко подглядывать. Поймали однажды, не разобрали в темноте, что почтенный человек, – в кровь избили. Вот чего Лесачиха наделала! До какого срама добродетельного и степенного человека довела!..

И сам понимает, что – срамота, а с собой справиться не может. Как пришел Великий пост, говеть стал каждую неделю, на духу всю эту пакость попу, отцу Евфимию, рассказал – тот эпитимью наложил: тысячу поклонов да к Серафиму Саровскому пешком весной сходить и скоромного совсем не вкушать, покуда разрешения не даст. Отошел: отпустили его мысли блудные. Ходит – глаза в землю, на женщину совсем не глядит, кроме редьки с квасом – другой пищи не принимает, совсем как монах и снутри, и снаружи. Опять Марфа Игнатъевна беспокоиться стала: меры человек не понимает, совсем от мира отрешается. А как же дела? Один всем делом ворочал, а теперь ни барыш, ни убыток его души не трогают. И потом, ему хорошо: шестьдесят годов прожил, с походом от грехов житейских вкусил, а как ей быть? Она всего сорока пяти лет от роду, женщина в соках и в полном расцвете. Что же теперь ей делать при такой святости супруга? Сердится, злобится, говорит:

– Заставь дурака молиться, он и лоб расшибет!..

Пошла к отцу Евфимию, все чистосердечно рассказала. Призадумался попик, вздохнул. А что скажешь? Тут и божеское, и человеческое перепуталось! Могий вместити да вместит. А не могий? Да притом и сам женат, детей девять душ наплодил, а попадаья опять в тяжестях ходит.

– Дайте, матушка, срок! Вот к Серафиму Саровскому в пустынь побывает, тогда я эпитимью сниму и вино с елеем разрешу, и, как говорится, Божие – Богови, кесарево – кесарю. А покуда да смирится всякая плоть человеческая!

Успокоил, вразумил, снял с души гнет и плен страстей. Приняла благословение и пошла домой со смирением.

Весной, вскоре после Пасхи, Вавила Егорыч на богомолье в Саратовскую пустынь отправился. Никого с собой не взял. С близкими идти – за собой грехи нести. Все оставил позади, все заботы, все земные привязанности. Точно между небом и землей повис. Весна была погожая, теплая. Рано сирень и черемуха зацвели, яблоньки в садах в бело-розовых кружевах стояли. Дух шел от земли сладостный. Птицы радостно пели хвалу Господу. И на душе у Вавилы Егорыча точно хор архиерейский «Славу в вышних Богу» пел. Долго до Волги пробирался. Последним лесом уж шел. Тут и сбился. Два дня бродил, а выйти из лесу не может. Точно и конца ему нет. По ночам от зверя на сосну забирался и до свету, как птица, как глухарь, меж суков сидел да носом клевал. Говорили, что в этом лесу волков много. Вот на третий день своего блуждания подходит он к озерам да болотам. Вечером было. Солнышко на закате. Вода в озерах золотится да румянится. Комар звенит да мушкара над водами пляшет. Кукушка поет-тоскует. Уморился Вавила Егорыч, пить захотел и к озеру свернул с тропы. Идет, голову понурил, а поднял – навстречу старенький монах идет, с падожком, покашливает и седой бородкой потрясывает. А руки – как кости одни, и в руке – четки черные. Поклонились друг другу. Вавила Егорыч остановил проходящего и спрашивает:

– Далеко ли, брат, путь держишь?

– До Саратовской пустыни.

– Стало быть, попутчики мы с тобой!

Ну разговорились. То да се. Монах Вавилу Егорыча из туеса холодной водицей напоил, вместе пошли. До темноты шли, потом стали о ночевке думать. А тут как раз и караулка лесная. Заглянули – никого нет, пустая. Пожевали хлеба, водицы попили и на покой. Рядком на полу легли. Сильно притомился Вавила Егорыч и крепко заснул. Только ночью просыпается – точно кто в поясицу толкнул – что такое? В оконце месяц глядит, прямо на пол свет лунный ложится, и видит Вавила Егорыч, что рядом не монах, а Лукерья нагишом лежит! Сел, глаза протер, перекрестился – опять монах старенький. Что ж теперь делать? И страшно лечь, и уйти боится. Долго сидел и искоса на монаха поглядывал. Нет, все правильно! И губами старыми жует, и покашливает, как старику подобает. Померещилось! А сон клонит, голова не держится. Прилег и задремал. Месяц тем временем сокрылся, видно – тучки набежали, ветер в лесу стал шнырять. Зашумели деревья. Темень упала – ничего не видать. Только слышит, как во сне, Вавила Егорыч, что словно кто-то на грудь ему навалился локтем и губами к уху, даже горячо! – и шепчет... Раскрыл Вавила Егорыч глаза, рукой повел и словно обжегся: грудь женская, волос долгий щеку гладит. И вдруг это рука его голая за шею в обнимку обвила! Как змея какая. Вавила Егорыч хочет перекреститься, а рука мешает.

Сперва ужас напал, а как услышал шепота бабы – сразу блуд все страхи разогнал. Сам рукой левой ее прихватил – голая! Вся праведность сразу, как вода с гуся, скатилась! Вот ведь она какая, власть женщине над нами, дадена!

– Кто ты такая?

– А вот почувствуй!

Погладил, это, замутился всем духом и телом:

– Лукерья? – говорит.

Хотел что-то еще сказать, да баба не дала: впилась губами в его губы и рот запечатала. Никакого разговору больше не было... Уж какие тут разговоры?

А проснулся: светло; лес, как море, шумит; птицы поют, на соснах золотые зайчики прыгают. Сел, огляделся: озеро под ногами, камыши, мох зеленый, как постель пуховая; стрекоза на камышинке сидит, крылышками трепещет. Все как сон было. Однако все-таки было... Пакость эта самая. Словно кто избил до костей – слабость и немощность, и дух печали великой. Душа по загубленной святости скорбит! Хотел перекреститься, рука не поднимается. Встал – шатается. Пошел к озеру, омылся, припал к сосне и горько заплакал. Он плачет, а кукушка кукует.

– Эх, кукушечка! Не найдешь, что потеряешь...

Собрал котомку, взял подошок и пошел. И недалеко от Волги уж был: услышал, как пароход гудит. Часа через полтора на берег Волги вышел: под Козьмодемьянском. Не стало больше сил пешком идти: духом ослаб. Уж какой обет Господу, если в путях в такое смрадное искушение впал? Вся заслуга зря пропала. Даже в Пустынь идти страшно: какими глазами в Лики Божьих угодников будешь смотреть? И ночь эта блудная в лесной сторожке из ума не уходит. На шее словно след от горячей бабьей руки остался, палит. И на губах словно паутина: корочкой подернулись, запекились от бесовского целования. И ноги дрожат, и руки трясутся. Сперва было утешение, что вся эта пакость – сон бесовский, а потом и этого утешения не стало: волос долгий, бабий, на своем плече обнаружил. Откуда же эта погань, если все только во сне было? Золотится волос на солнце, не отцепляется. Сбросил, а он полетал да опять на него же сел, прямо на бороду, и запутался в седых кудрях. Все пропало! Прямо, хотя домой ворочайся. Это уж не подвиг. Упал духом и не пошел, а сел на пароход до Нижнего Новгорода.

Все-таки в Пустыни побывал. Помолился, попустился, грехи с души покаянием снял, в Святом колодце умылся. Святой водицей утробу прополоскал, все, как прочие, сделал. В келье у отшельника побывал, советовался, как наваждение бесовское снять, победить. Велел на Ваала ехать: есть там такой скит, для блудников по женской части, туда никогда женская нога не ступает.

– Года три там постарайся – все снимется, всякая похоть, – говорит.

Так-то оно так, а как же супруга законная? Вздохнул: нет уж, видно, всякому кораблю свое плавание.

Целый месяц Вавила Егорыч пространствовал. Домой вернулся, не узнали: и с тела спал, и голос ослаб, и кротость в глазах. Хотя всего подвига душевного и не пришлось выполнить, потому в грязи блудной вымазался в путях добродетели, а все-таки благообразие личности себе вернул. Опять за дело взялся, да как! Точно все снова начал. Без него много недоглядки было, упущений в деле всяких, денежные расчеты запутали. Все выправил, все балансы подвел, с кого надо получил, кому надо заплатил. Пять тысяч на «Дом умалишенных» пожертвовал, потому понял, как человеку без разума тяжело на земле бывает. Сам в безумие впадал... Одним словом, раскаялся, покаялся и спокойствие душевное воротил. И так шло ровно два года. В эти два года бойко дела шли: богатство свое преумножил,

в купцы второй гильдии записался и медаль на шею получил. Может, с этой медали и началось опять. Может быть, от нее и конец всему вышел.

В городе Нижнем Новограде выставка тогда была. На лесной бирже побывал, на выставку с купцами поехал смотреть. И свои, ветлужские, были, и с других мест люди торговые. И среди них Вавила Егорыч – один с медалью! Конечно, слаб человек: гордость одолела. И отстать от других не захотелось. Один угощает, другой – под него, третий – под обоих. Так винтом и пошло. Все хмельные по выставке гуляли и зашли, это, в павильон, где разные картины выставлены.

– Пустяки тут разные! – говорит Вавила Егорыч и тянет компанию вон из павильона.

Идут, глазами по стенам наскоро шарят, картины эти мельком озирают. И вдруг это Вавила Егорыч остановился, рот разинул и как словно в землю врос. Картину увидел: около озера – голая женщина стоит, купаться собралась.

– Пойдемте! Нехорошо! Седые уж... – говорит один. Потянулись, а Вавила Егорыч не уходит, в картину прямо обоими глазами впился и застыл.

– А ты будет, милый! Нехорошо оно... года наши не такие...

Как оглох! Стоит, ноздрями шевелит, с ноги на ногу переминается и в загривке чешет.

– Она самая... – шепчет.

Насилу оторвали – пристыдили. Много хохоту было. Только Вавила Егорыч не смеялся: в грусть впал. Ходил по разным павильонам безо всякого внимания и никаким чудесам не удивлялся. Одно в голове сидело: на картине – она, Лукерья, нарисована! От компании отбился, а сам опять туда, в галерею эту, где картины показываются. Огляделся: знакомых не видно, – к картине подошел и опять как в землю врос! Она! Она самая! И озеро это то самое, где с монахом повстречался. Стоит – глядит и надивиться не может. Так бы взял со стены эту картину и к себе в номера унес! Стыдно тут долго-то глядеть, а свой номер запер и гляди, сколько хочешь, никто не увидит. Король-баба! Красота! Так бы схватил в охапку, да... Захотел рукой коснуться, а позади сказал господин:

– Нельзя руками трогать!

Строго сказал.

– На дереве она сделана, господин?

– Холст, холст...

– А позвольте дознаться, сколько заплатить надо... купить если эту картину!

– Пять тысяч!

– Пять тысяч? Сумма круглая. А дешевле можно?

– Да она продана уж. Видите, билет внизу?

Посмотрел – написано: «Продано». Тоска вдруг в душу хлынула. Продана!

– А ежели я шесть тысяч дам?

– А уж это не наше дело. Поговорите с тем, кто купил.

– А кто ее хозяин теперь?

– Спросите в конторе.

– Та-а-к.

Вздохнул и так загрустил, словно дорогое что потерял. Постоял, поглядел, а в контору идти боится: совестно. Долго около павильона хо-

дил, все сам с собой рассуждал, как ему этой картиной овладеть. Пять тысяч!.. Аршин шесть холста, красок разных не больше фунта полтора и рама самая дешевая, без золота, а пять тысяч! За пять-то тысяч люди два года спины не разгибают, а тут помазал и готово... Да и за пять теперь не купишь!..

Всю ночь не спал. По номеру ходил – о картине думал. Тянет она к себе. Все на часы глядел: только в десять на выставку пускают. Люди до десяти часов наработаются, а они только с десяти свое заведение открывают!.. Пошел, по улицам поболтался, к десяти на выставку пришел. Оглянулся, как вор, чтобы знакомые купцы не увидели, да опять на картину смотреть... Нехорошо оно выходит – все около голой женщины стоять – а потому и на другие картины смотреть приходится. Кружил-кружил, а все в эту упирался. Тянет, как магнит железо. Силы нет мимо пройти. И что такое? Не одна тут голая-то есть, а вот одна эта удерживает. Она! Она самая! И озеро, и камыш. Король-баба! Так бы захватил в охапку и смял... Вся душа и все тело сладким блудным грехом напоятся от этой картины. Вспоминается ночь весенняя в лесной сторожке, в ушах шепота бабьи, глаза да зубы сверкающие, а потом – грусть. Кукушечка кукует. Не та грусть, что тогда была, другая: тогда о поруганной святости душа тосковала, а теперь по греху сладкому, невозвратному... Топтался на выставке до обеда и опять не решился в контору зайти. Три дня не решался. На четвертый себя превозмог. Надвинул картуз поглубже и в контору заглянул. Хорошо вышло: никого нет, одна барышня за столиком сидит, разные карточки да картиночки продает.

– А что, барышня, я спросить хочу: кто теперь картину купил, которая в галерее против окна висит... Женщина купается?

– Какой номер?

– Номера-то не приметил, а только... одна она там купается! Этак-то озеро нарисовано, камыши... А она стоит... Не знай – искупалась, не знай – только в воду хочет лезть...

Барышня показала открытки. Сразу нашел:

– Вот эта самая! Она! Она самая...

– Куплена... куплена... Сейчас посмотрю...

Перелистала тетрадочку и говорит:

– Шах персидский купил.

– Шах?! Вот оно что! Гм... Шах персидский, стало быть... Та-а-ак. Ничего не выйдет.

Опустил голову. Словно известие о смерти какой получил. Стоит, покачивает головой и шепчет:

– Шах?... Персидский?..

Губами причмокнул, помялся, вздохнул.

– Ну, покуда, счастливо оставаться...

У дверей задержался:

– Я этому шаху десять бы заплатил... тысяч, то есть.

Ничего не сказала барышня. Вавила Егорыч махнул рукой и вышел. Шел тихо, шаг за шагом, и в мыслях шаха персидского уговаривал и ругал нехорошими словами: «Ну купи другую, а эту мне уступи! Не хочешь, так твою разэтак?... Персидский ты человек, больше ничего!»

Что ж теперь делать? Как Лукерью у шаха отбить? Не возьмет, поди, отступного? Как к нему сунешься? Какой ни на есть, а император. Совсем закручинился Вавила Егорыч. И тяжелее всего то, что никому своей беды

не расскажешь: стыдно. Верно, от этой грусти и запой в неурочное время начался. Заперся в номере и начал наливать. Думал грусть-тоску вином залить, а оно вышло еще хуже: прямо хоть укради! Пошел на выставку. Поглядит, поглядит, махнет рукой да в буфет! Выпьет и опять к картине потянет. Даже и стыд начал пропадать. Паренек, с бантиком, давно приметил этого посетителя: как увидит Вавилу Егорыча, так ухмыляется. Вечером, когда время пришло выставке закрыться и все посетители, кроме Вавилы Егорыча, из павильона ушли, подошел этот паренек к нему и говорит:

– Как видимо, вам эта картина очень понравилась?

– Озеро уж очень хорошо! – сказал, вздохнувши, Вавила Егорыч.

– Озеро озером, но и бабеночка ничего себе. А между прочим – вам уходить пора: выставка запирается. Завтра приходите!

Веселый, разговорчивый паренек. Павильон запер, вместе с выставки пошли.

– Не желаете ли со мной отобедать? – спросил Вавила Егорыч.

Затащил паренька в трактир с музыкой, стерляжьей ухой накормил, графинчик водочки раздавили под свежую икорку да балычок – и точно давно знакомы были. Прямо – приятели. Не выдержал Вавила Егорыч: рассказал пареньку про свою печаль. Тот его по плечу похлопал: «Этому горю можно пособить! – говорит. – Выставляй бутылку шампанского».

– Да ежели бы ты мне это дело оборудовал, я тебя прямо озолотил бы!

Пошли в отдельный кабинет для секретного разговору. Что там между ними было – неизвестно. Надо думать, сошлись: на ярмарку вместе поехали и всю ночь вместе колобродили. Всего три дня после этого прошло, а в газете напечатали, что на выставке дерзкая кража обнаружена: проданная шаху персидскому картина «Перед купаньем» оказалась вырезанной из рамы, о чем, дескать, производится следствие.

Ежели бы не шах персидский, может быть, и строгое следствие ничего не обнаружило бы, а тут всю тайную и явную полицию на ноги поставили.

А конец всему вот какой был...

Ехал Вавила Егорыч из Нижнего Новгорода на пароходе. Запой с ним кончился, и снова благочинность началась. Всегда после запоя и всякой пьяной пакости сильнее добродетельным хотелось быть. Облагообразился, в баню ходил, подстригся и медаль на шею надел, и поехал. Ехал в рубке второго класса: кают не было – очень густо пассажир шел. Да оно и езды-то немного было: до Козьмодемьянска только. Чайку попил, селяночку рыбную съел и за деловыми разговорами с попутными купцами и времени не заметил. И вдруг это в рубку пристав с жандармом и помощник капитана ввалились:

– Кто здесь купец второй гильдии, Вавила Егорович Карягин?

– Я Карягин буду.

Стоит, за медаль рукой держится, а сам весь сжался, в землю глядит.

– А где ваши вещи?

Народу в рубку навалило, яблоку негде упасть. Очень уж любопытное происшествие: купец с медалью – и вдруг обыск! По всему пароходу слух побежал, что политического купца поймали с прокламациями и с бомбой. Все точно обрадовались, и на такого зверя поглядеть всем захотелось. Их начальство гонит, а они – как мухи: отхлынут да в дру-

гую дверь. Никакого сладу нет. Стали обыск делать. Чемодан – на стол и шарить. До дна раскопали, выволокли сверток трубкой. Что такое? Развернули – голая женщина!

– Она! – говорит пристав и смотрит на Вавилу Егорыча. – Где вы эту картину взяли?

– Купил-с... Десять тысяч заплатил. Вот как перед Богом...

– Вы арестованы!

А кругом – хохот и насмешки. Даже и сам пристав смеется. Еще бы! – такой почтенный человек, с медалью на груди, на выставке голую бабу украл.

Чтобы публика беспорядку не делала, Вавилу Егорыча в каюту ко второму помощнику капитана посадили и жандарма приставили. Только, это, публика успокоилась, как опять крик, шум, смятение: человек за борт в воду прыгнул! Застопорили машину, стали лодку спускать – все кричат, руками машут, женщины плачут, матросы ругаются.

Постоял пароход минут пять и снова дым пустил, и стал колесами будоражить. Время дорого в ярманку: некогда возиться. Да и где тут спасешь? Прямо под колесо прыгнул. Прихлопнуло колесной плицей по голове, и готов. Погломонила публика и тоже успокоилась: у всякого свое дело, своя забота. Только пристав ругал жандарма: как он дозволил Карягину в воду прыгнуть?

– До ветру попросился, а я чуть успел дверь отворить, он, сволочь, из каюты броском да за борт! Вот извольте медаль принять: на столике оставил.